

Р.С. Черепанова

Столетняя Российская революция? К вопросу о феномене долгих революций

В основу статьи положено разделение двух понятий: социальная революция (широкий смысл) и секторальная революция – политическая, культурная, технологическая и т.п. (узкий смысл). Социальную революцию автор видит как один из путей модернизации, который используется, когда возможности других путей (эволюционного или реформистского) исчерпаны или заблокированы. Социальные революции, в отличие от секторальных, по мысли автора, длятся многие десятилетия, проходя через ряд этапов и сопровождаясь неоднократной сменой политических векторов и режимов. Отталкиваясь от идеи П. Соркина о «маятнике революции», статья анализирует этапы долгой социальной революции в России от 1905 г. до начала 2000-х гг.

Ключевые слова: социальная революция, модернизация, контрреволюция, интеллектуалы.

Тот факт, что с завершением юбилейного 2017 г. поток статей о русской революции не иссяк, свидетельствует не только об остром общественном запросе на осмысление событий столетней давности, но также о критическом отсутствии новой убедительной парадигмы, описывающей феномен революции. Современные историки мечутся между постмодернистским скепсисом в отношении любых «больших схем» и попытками адаптировать к русскому материалу концепцию модернизации (с вариантами в виде теории множественных модерностей или теории индигенизации [10, с. 122]) как единственную на сегодняшний день модель, способную работать на том широком холсте, на котором

классический марксизм приучил отечественных (и не только) историков располагать и осмыслять прошлое. Насколько сырыми выглядят результаты этих попыток, демонстрирует недавняя статья одного из корифеев отечественной науки С.В. Мироненко, изображающая путь России в виде череды загадочных даже для самого автора «рывков» то «вперед» (модернизация), то «назад» (реакция), и представляющая советский период в качестве однозначного движения в сторону от генеральной линии общественного прогресса [5, с. 18]. Позиция Б.Н. Миронова, рассматривающего советский проект как своеобразное продолжение долгой российской модернизации, выглядела бы более убедительной, если бы не изображала события 1917 г. исключительно как результат манипуляций контрэлиты с целью захвата власти [6, с. 75]. Стараясь двигаться в русле универсалистской концепции, альтернативной марксизму, оба автора парадоксально приходят к описанию российского революционного опыта как скорее исключительного, нежели закономерного среди современных современных обществ. С этой позицией готовы согласиться и сторонники цивилизационного подхода, что отмечает в своей статье Л. Мазур [3, с. 14] и многие зарубежные исследователи, заявляя, например, что революции бывают разные: «Одни носят ненасильственный характер, другие порождают кровавые гражданские войны; одни приводят к демократии и свободе, другие – к жестокой диктатуре» [1, с. 17], поэтому «не существует однозначной связи между модернизацией и революцией» [Там же, с. 29], а «специфика русской революции в том, что это была первая и имевшая новаторский характер коммунистическая революция» [Там же, с. 11].

Очевидно, что, прежде чем делать выводы о закономерности или исключительности русского революционного опыта, следует все-таки определиться с понятиями.

Марксистское, чрезвычайно широкое, понимание, представляло революцию как форму перехода от одной формации к другой, как продукт конфликта между производственными силами и производительными отношениями. Как принято сегодня считать, оно не только не нашло подтверждения историческим материалом, но и оказалось скомпрометировано крахом коммунистических идеологий.

Другие известные подходы к концепту революции (П. Штомпка обобщает их в четыре кластера: бихевиористские, психологические, структурные и политические), дистанцируясь от марксистской парадигмы, напротив, сужали дискутируемое понятие до изменений («переворотов») в отдельных сферах общественной жизни: технологической, культурной, политической (включая сюда освобождение от внешнего управления или переход власти к контрэлите), экономической либо социальной [11, с. 375–385].

Надо признать, что узкий смысл понятия «революция», безусловно, заслуживает право на существование. Секторальные революции, бесспорно, имеют свой предмет. Однако существует и целый ряд исторических явлений, которые не могут быть описаны простым сложением секторальных революций. Например, если политическая революция (узкий смысл) чаще всего сводится к простой смене субъектов власти, то революция в широком смысле производит изменение политических форм и институтов. Если экономическая революция (узкий смысл) сводится к перераспределению объектов собственности, смене технологий или ключевых ресурсов, то революция в широком смысле меняет структуру производства, формы собственности и трудовые отношения.

Иными словами, мы не можем игнорировать тот особенный вид социальных трансформаций, в ходе которого глубокие качественные перемены совершаются с травматической быстротой, сразу в нескольких сферах и в отсутствие общественного консенсуса, при этом общественный конфликт и раскол (по экономическому, политическому, культурному принципу) настолько глубок, что заставляет большие группы людей прибегать к насилию для отстаивания своих интересов. Такого рода явления и пытался объяснить марксизм из своей исторической перспективы, со своей точки обозрения, т.е. находясь внутри незавершенных к тому моменту процессов.

Становясь на эту точку зрения, следует признать, что социальная революция, в отличие от секторальных «переворотов» (революций «в узком смысле»), – достаточно редкое историческое явление. Если политические перевороты могут совершаться практически с любой частотой, то через социальную революцию каждое общество в обозримом и документированном историческом периоде проходит только один раз, в ходе т.н. «Великих революций» – Английской середины XVII в., Североамериканской и Французской конца XVIII в., Русской начала XX в. По глубокому замечанию М. Малиа, в истории каждой нации может быть только одна великая революция, открывающая путь к модерности [4, с. 13].

История не знает революций феодальных (отсутствие внятной грани между «феодализмом» и «античностью») стало одной из тех эмпирических мин, на которых как раз и подорвалась марксистская теория), под большим вопросом остается и возможность революций социалистических – с учетом наших нынешних сомнений в том, удалось ли «социалистическим» обществам XX в. создать новый тип социума и новые экономические отношения, не описываемые, например, в категориях государственного капитализма. Видимо, корректнее было бы говорить о традиционалистских контрреволюциях и незрелых и/или

незавершенных буржуазных, принимаемых за «социалистические». Единственный же четко идентифицируемый тип общества, который сегодня существует во всех странах, прошедших через социальные революции, – буржуазный, капиталистический, современный.

В самом деле, все известные нам социальные революции (в отличие от бунтов и переворотов, т.е. революций в узком смысле) совершались в Новое или Новейшее время и, очевидно, тесно связаны с феноменом модерности, понимаемой как «комплекс социальных, политических, экономических, культурных и интеллектуальных трансформаций, происходивших на Западе с XVI в. и достигших своего апогея в XIX–XX вв.» [11, с. 170].

Целью социальной революции выступает «отверзание ворот» для таких «буржуазных» процессов, как индустриализация, урбанизация, рационализация, бюрократизация, демократизация, индивидуализм, утверждение светского сознания и доминирующая роль научного знания.

Социальные революции являются специфическим феноменом и одним из путей модернизации, который используется тогда, когда возможности других путей (эволюционного или реформистского) исчерпаны или заблокированы.

Социальные революции, в отличие от секторальных, являются не только широкими, но и долгими, совершающимися на протяжении нескольких десятилетий. За это время социальные и экономические трансформации успевают пройти через ряд промежуточных этапов, происходит и несколько политических революций (переворотов). Все это серьезно сбивает историков, особенно тех, кто смотрит на оцениваемый феномен с близкого временного расстояния. Были ли события во Франции 1830, 1848 и 1870 гг. социальными революциями или только политическими, совершавшимися в рамках «Великой» и почти столетней Французской революции, начавшейся в конце XVIII в.? Можно ли рассматривать Гражданскую войну в США как продолжение и завершение социальной революции, начатой почти одновременно с Французской? Ведь только с событиями 1870 г. во Франции и 1865 г. в США окончательно оформляются французское и североамериканское современные общества. То, что революционные эпохи длятся дольше, чем политические перевороты или гражданские войны, от лица политологической и философской когорты утверждает в своей недавней статье и М.А. Шепелев [10, с. 125]. Очевидно, пора и историкам допустить новый взгляд на старые схемы.

Русская революция также выступает в виде большого проекта по приближению к модерности в стране, где модернизация сверху (Романовых) оказалась крайне противоречивой и несбалансированной,

а население реагировало на современные практики эскапистскими страхами и желаниями.

В качестве одной из причин русской революции, таким образом, может быть названа незавершенность модернизационных реформ и структурные препятствия к эволюционной модернизации: сохранение сословного строя, сохранение крестьянской общины, преобладание аграрного сектора в экономике, незавершенная индустриализация, крайне низкий уровень образования у большинства населения страны, насаждаемая православизация, господствующий религиозно-традиционалистский тип сознания, не готовый к принятию даже того ограниченного набора свобод, который существовал в русском обществе начала XX в. В этом смысле трудно согласиться с Мироновым в том оптимизме, с которым он рассуждает об успешности царского проекта модернизации и о перспективах России накануне революции [6]. Миронов прав в том (и этот тезис подтверждается на историческом материале других стран) [1, с. 27; 9, с. 12, 18 и др.], что «старые режимы» накануне революций действительно нельзя уже назвать в полной мере старыми: напротив, они активно модернизируются, а благосостояние населения значительно растет, но, правда, не такими быстрыми темпами, какими растут потребности этих людей, вкусивших от первых благ модерности. Именно это противоречие между темпами роста потребностей и возможностей их удовлетворения в полумодерном обществе составляет одну из главных пружин социальной революции.

Нельзя сказать, чтобы российское правительство в начале XX в. не замечало этой проблемы, но реагировало оно слишком медленно. Планы III Государственной Думы (1907–1912 гг.) о всеобщем бесплатном начальном образовании, планы, которые работали бы на размывание в массовом сознании традиционных ценностей, были приняты чрезвычайно поздно, когда до мировой войны оставалось всего несколько лет. Сама война, в свою очередь, способствовала «обнулению настроек» крестьянского и рабочего сознания временами почти до уровня стадных инстинктов. Деревенский менталитет, сохранявшийся и у городских рабочих, и у солдат, вообще плохо выдерживал новые реалии XX в., тем более новые формы войны [7, с. 209–223].

Выкорчевать основы традиционалистских представлений реально смогла только советская власть, с течением времени все дальше отходящая от радикально-утопического большевизма. Вначале были упразднены сословия, затем продвинута и, пусть не сразу, только к эпохе «пустующих» в 1970-е гг. деревень, но все же завершена индустриализация. К сложнейшей задаче эмансипации сознания советская власть подошла с радикализмом Петра I, взрывая церкви и мечети и принудительно

усадив взрослое население за парты. Долше других осколков традиционализма продержалась сельскохозяйственная община, поддерживаемая экономическими, технологическими, политическими, идеологическими и культурно-психологическими ограничениями. Ее реинкарнация в виде колхозно-совхозной системы очевидна. Однако нападения на фермерские хозяйства в эпоху перестройки покажут, насколько непростым, несводимым к злему умыслу, некомпетентности или догматизму властей, действующих в глубоко расколотом обществе, было решение о сохранении в индустриализирующемся советском обществе этого средневекового рудимента – сельскохозяйственной общины в виде колхозов.

Вторая причина русской революции прямо противоположна первой и может быть определена как совокупность негативных последствий капитализма и модернизации в целом. Эти причины особенно любили подчеркивать коммунистические историки и идеологи. В этом ряду обычно назывался т.н. рабочий вопрос (слишком долгий рабочий день и слишком низкие зарплаты, недостаточная социальная и правовая поддержка и защищенность), затем крестьянский вопрос (аграрное перенаселение и бедность большинства крестьянского населения) и, наконец, национальный вопрос (неравноправное положение разных этнических и конфессиональных групп, а также начавшиеся у отдельных народов процессы формирования наций и национализма). Отметим, что советская власть с небесспорной эффективностью, но все же преодолет и эти проблемы: с середины 1950-х гг. начнется устойчивый рост уровня жизни трудящихся масс, а тезис о едином многонациональном советском народе – особой культурной общности, этакой меганации – позволит не устранить, но качественно заморозить и/или трансформировать «национальный вопрос».

Падение в годы перестройки тезиса о «меганации» вновь запустило приостановленные коммунистами процессы нациеобразования у народов Советского Союза и России. С этим связаны сегодняшние отчаянные и пока не очень удачные попытки властей по отысканию (созданию) некоего нового «мега-проекта», новой «мегаидеи» (в виде тезисов о «патриотизме», «русском мире» и т.п.), которые смогли бы объединить столь разные народы, как те, что проживают на территории РФ.

Во всяком случае, в национальной и социальной сферах советская власть оказались гораздо более конструктивной, нежели власть дореволюционная, да и современная.

Констатация этого факта выводит нас к еще одной важной причине русской революции – низким качествам правящей элиты Российской империи: ее закрытости, косности, коррумпированности, бюрократичности и неэффективности.

В свое время вместе с просвещением российская правящая элита усвоила из Европы и представления, порой завышенные, о собственной миссии и, главное, о собственных правах. Пример «тирана» Павла I, убитого в ходе аристократического заговора, показал невозможность применения к новой российской элите тех старых (деспотических) мер, которые прежде (по крайней мере, до эпохи Екатерины II) неизменно возвращали ей, хотя и не на долгое время, управляемость и эффективность.

Итак, с середины XVIII в. репрессии по отношению к «просвещенной» элите, опоре трона, стали невозможны. По этой причине и при отсутствии правильно функционирующих государственных и правовых структур распоясавшаяся бюрократическая элита не только не занималась решением задач, стоявший перед страной, но напротив, успешно саботировала реформы, становясь большой головной болью для императоров.

Именно в силу этого обстоятельства – слабоуправляемой элиты, действующей в своих узкокорпоративных интересах – «неограниченная власть» и возможности первых лиц российского государства всегда были очень условны.

Александр I, по-видимому, в итоге смирился с неспособностью переломить ситуацию (приписываемая ему фраза – «некем взять» – призвана была как раз объяснить замораживание задуманных им реформ). Николай I, очевидно, надеялся решить вопрос путем усовершенствования правовых основ империи, увеличения среднего и низового штата чиновников, а также компенсируя пробуксовывающий бюрократический механизм ростом своего личного контроля (личные инспекции в регионы, раздувание Собственной Его Императорского Величества Канцелярии). Компенсация оказалась неравноценной и не уберегла императора от манипуляций и спекуляций со стороны бюрократии, проявившихся, в том числе, и в неудачах Крымской войны.

Александр II потребовалось многочисленными выступлениями перед дворянством, уговаривая и запугивая, стимулировать и в значительной степени сымитировать нечто вроде «общественного мнения», чтобы иметь рычаг давления на высших сановников и дополнительный инструмент контроля над ними. Как известно, Александр II, готовя общество к отмене крепостного права, объявил о начале «гласности», разрешив печататься прежде запрещаемым публицистам, вернул из ссылки декабристов, а также активно разъезжал по стране, обращаясь с речами к просвещенному обществу и, в частности, уговаривая дворянство принять грядущую реформу из страха перед новой «пугачевщиной», хотя опасаться масштабных крестьянских волнений в тот

момент не было никаких объективных оснований. Эти уловки позволили Александру II развернуть реформы, но уже не позволили их закончить. Бюрократия успела мобилизоваться, используя как таран для продавливания консервативных идей террористическое движение социалистов-народников, которому якобы открыли двери именно модернизационные реформы.

Александр III посчитал благоразумным не вступать в открытый конфликт с бюрократией, пойдя ей на существенные уступки. Однако замораживание политических и социальных реформ с опорой на старую элиту новый государь сопровождал курсом на продолжение буржуазных реформ в экономике с опорой на элиту новую, меритократическую (Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). Главными ресурсами Александра III при обуздании правящего класса стали его личная харизма, умение подбирать людей в зависимости от их личных качеств и активно эксплуатируемый им инстинкт «страха перед государем». Александр III и его команда немало потрудились над тем, чтобы создать императору имидж и репутацию сурового «русского медведя» и «мужика на троне».

Однако проявившийся при Александре III крен от создания четкой и автоматически функционирующей управленческой системы в сторону увеличения контроля первого лица мог быть продуктивным только при условии сильной воли и высокого авторитета этого лица. Поэтому в правление Николая II, которого и двор, и бюрократия, и почти весь клан Романовых считали слабым, правительственная элита уже почти в открытую обслуживала только собственные интересы.

Эту насквозь прогнившую элиту окончательно смели только большевики. Набранная ими новая управленческая верхушка поначалу не имела высоких претензий и представлений о собственных правах. Однако вскоре и она заматерела и начала стремительно формировать закрытые внутренние сети, в связи с чем одной из причин известных «сталинских репрессий» может быть названо стремление первого лица и его немногочисленной команды привести в тонус партийную и государственную бюрократию не только в центре, но и на местах, лишив ее возможности вести собственную политическую игру. Когда же в хрущевское время репрессии прекратились, проблема с качеством управленческой верхушки в очередной раз стала нарастать.

К концу брежневского периода политическая элита страны снова была гиперкоррупцированной, закрытой и неэффективной, каковое обстоятельство часто называется политологами в качестве одной из причин перестройки. Низкие качества руководящих кругов и слабость управленческих институтов были и, увы, остаются главным моментом

уязвимости русской государственной машины, единственным условием функционирования которой в таких обстоятельствах выступает только сильный руководитель, вынужденный буквально тащить ее на себе. При слабом первом лице система может некоторое время по инерции держаться, имитируя работоспособность, но лишь до первого серьезного испытания.

Таким образом, последней причиной, замкнувшей цепь социальной революции в России, стали личные качества отрекшегося императора: слабость политической воли, низкая компетентность, излишняя погруженность в семейные обстоятельства, догматизм и узость политического кругозора, непонимание собственного народа и особенностей развития своей страны, восприятие своего царственного статуса как тягостной обязанности.

Что касается хронологических рамок социальной революции в России, то, прежде всего, вспомним, что ни Английская, ни Великая Французская революции не начинались сразу со свержения или казни короля. Во Франции монарх даже пытался какое-то время изображать сотрудничество с восставшими. События в России февраля и октября 1917 г. были, без сомнения, революциями политическими, но корректно ли будет именно от них отсчитывать начало революции социальной?

Гораздо убедительнее в качестве точки отсчета выглядит, возможно, 1905 г., отмеченный не только вспышками массового неповиновения властям, не только самоорганизацией общества, но и радикальным преобразованием политической системы. Были созданы, по сути, все политико-правовые институты современного общества. Вот только в стране, в массе своей остававшейся безграмотной, аграрной и общинно-традиционалистской, эти институты едва ли могли полноценно функционировать. В силу этого конфликта социальная революция была еще очень далека от завершения. Хотя после 1907 г. могло создаться обманчивое впечатление, что революционный процесс заблокирован или исчерпан, на самом деле он только проходил стадию вызревания. Государство еще могло его возглавить, сделав менее разрушительным и более управляемым, однако для такой масштабной модернизации, по сути, революции сверху, потребовалась бы сильная личность и если не эффективно помогающая, то хотя бы лояльная к ней, из страха или из выгоды, политическая элита. На деле же именно оторванные от реальности, близорукие и замкнутые исключительно на своих сиюминутных интересах правящие круги устраняли всех, кто претендовал на роль модернизатора, и после падения последнего из них, П.А. Столыпина, возобновление революции в форме массового и неконтролируемого насилия стало

неизбежным. Тем более, что российская интеллигенция и буржуазия активно поощряли к этому народные низы.

Массовое насилие возмущенных низов в ходе любой социальной революции позволяет ее главным бенефициариям – буржуазии и интеллигенции – набрать разбег, необходимый для сноса старых структур. Как только старый порядок будет сметен, буржуазия пожелает «остановиться», а народные низы, естественно, пожелают вести «революцию» дальше, в меру своих нехитрых, глубоко традиционалистских представлений: «справедливо» все поделить, избавиться от дармоедов-чиновников и т.п. На сторону народных низов встанут и некоторые представители интеллигенции (в силу философских, этических или личных причин). Так было и в ходе Английской революции, и в ходе Великой Французской. Вследствие этого происходит т.н. занос революции влево. Именно его обманчиво принимают за «социалистическую линию» в революции или даже за самостоятельную «социалистическую революцию». На самом деле, повторим, по нашему мнению, все революции всегда исключительно буржуазны. «Социалистическую» видимость им придают утопические, тянущие общество назад, требования низов и маргиналов: сломать государство вообще, отобрать у имущих и поделить между бедными «богатство».

Стадия левого заноса, хаоса, анархии в той или иной форме присутствует во всех революциях, и останавливает этот занос только некая сильная личность посредством террора и диктатуры. Эту траекторию раскачивания слева направо Питирим Сорокин в свое время, на материале событий февраля-июля 1917 г., описал как два последовательных витка «маятника революции» [8]. Однако, во-первых, едва ли процесс раскачивания социума ограничивается двумя колебаниями, а, во-вторых, в июле 1917 г. маятник революции только набирал свой разбег, и самый масштабный виток влево был еще впереди.

Чем дальше продвигается маятник влево, тем более жесткая личность выдвигается на сцену истории в момент противохода. Так у всех масштабных революций неизбежно появляется свой диктатор, восстанавливающий азы государства и порядка: Оливер Кромвель в Англии, Наполеон Бонапарт во Франции, Иосиф Сталин в СССР. С ним, вслед за витком влево, начинается новый виток вправо. Длится он, как правило, вплоть до смерти диктатора (насильственной или естественной), после которой маятник революции по инерции снова отбрасывается влево, в сторону анархических ожиданий масс. Интеллигенция и уцелевшие/восстанавливающиеся остатки буржуазии также жаждут послаблений, чтобы начать пользоваться богатством и свободами, ради

которых они с самого начала ввязались в борьбу. Однако бюрократия, а также корпорация военных, успевшие вполне сформироваться за годы диктатуры, останавливают это движение, снова разворачивая общество вправо. Покойный диктатор на этом новом этапе может быть реабилитирован и героизирован.

Так маятник революции продолжает раскачиваться, постепенно уменьшая амплитуду колебаний, в связи с чем нельзя не вспомнить, что еще в 2004 г. А. Эткинд чрезвычайно метко, хотя и практически на интуитивном уровне, охарактеризовал советский период как состояние непрерывной, затянувшейся и постепенно истощавшей себя, столетней революции [12, с. 102, 119 и др.].

И все же, с закреплением экономических, социальных и правовых основ модерности, с постепенной эмансипацией народного сознания от традиционалистских, утопических установок, а также с установлением приемлемой для данного общества формы демократии любая революция рано или поздно завершается. Временная протяженность революции в целом и отдельных ее витков зависит от состояния общества накануне революции (степень зрелости буржуазии, градус общественного раскола, качество интеллигенции и масштаб ее радикализации, возможности старых структур к сопротивлению, уровень развития общественного сознания), от эффективности или неэффективности диктатуры и, наконец, от суммы внешних факторов (международное признание или интервенция, война выигранная или проигранная).

Посмотрев с этих позиций на советскую и постсоветскую историю, можно увидеть, как уменьшается с течением времени амплитуда «левых заносов» (военный коммунизм, «оттепель», ранняя «перестройка») и глубина «правых поворотов»: сталинизм, брежневский застой. Кажется соблазнительным добавить в этот правый ряд и современную «управляемую демократию», однако это было бы принципиальной ошибкой.

Подлинным правым поворотом, контрреволюцией в истинном смысле слова может быть назван скорее ельцинский капитализм, с его возвратом к политической модели 1907 г. Возможности президента по Конституции 1993 г. (например, в плане контроля одновременно за исполнительной и законодательной ветвями власти) практически воспроизвели возможности императора в третьей ионийской монархии. Заметными явлениями ельцинского времени стали свойственные дореволюционной эпохе Николая II православизация, «министерская чехарда», «семья» (неофициальная власть узкого коррумпированного клана, цементируемого родственными и дружескими связями). Был осуществлен также возврат к «царской» символике (принятие «петровского» флага в качестве государственного, гимн на музыку М.И. Глинки,

запрет визуальных знаков советскости), вошла в официальный обиход монархическая риторика и символика (вспомним демонстративное перезахоронение останков царской семьи, почти официальные поиски и представление народу ельцинского «преемника» и, наконец, просто шутовское прозвище «Борис II», закрепившееся в народе за первым российским президентом).

Кроме того, положение народных низов катастрофически ухудшилось. Демонтаж системы правовой и социальной защищенности, даже в том несовершенном виде, в каком она сложилась в развитом СССР, заблокировал процесс формирования гражданского общества. Правящая элита снова стала запредельно коррумпированной и неуправляемой, олигархические круги срастались с государственным аппаратом. Произошла реальная деиндустриализация страны. Созданный медленно и с таким трудом советский «средний класс» был уничтожен, общественный раскол (в т.ч. по национальному признаку) выглядел пропастью. Отчетливо проявились рецидивы традиционного сознания. В чем-то метафорически, а в чем-то и буквально Россия почти вернулась к противоречивому и неустойчивому положению 1907–1913 гг.

Столь глубокий поворот вправо стал возможен, во-первых, благодаря близоруким попыткам советских властей насильственно удержать коммунистическую «левизну» (события 1990–1991 гг.), а во-вторых, благодаря внешнему влиянию, как прямому, так и косвенному действию западных консультантов, западных СМИ, западных финансовых потоков.

В этом плане немало позабавивший в свое время отечественных интеллектуалов призыв Д.А. Медведева осуществлять «модернизацию» выглядит трезвым осознанием того состояния, в котором к началу 2000-х гг. оказалась страна. Курс, проводимый с начала нулевых годов, выглядит отчаянной попыткой властей успеть завершить модернизацию сверху до своего нового 1917 г.

Препятствия к этому сегодня во многом те же самые, что были у дореволюционных модернизаторов: слабо работающие государственно-правовые институты, зачаточное состояние гражданского общества, коррумпированная элита, сращенная с олигархатом, радикально-западническая интеллигенция, видящая в русском «авторитаризме» исключительно негативные моменты.

Однако задача не выглядит безнадежной. У сегодняшних властей есть преимущества, которых не было у царского правительства: более образованное общество и еще свежая память о том предмодерном состоянии, в котором находился СССР накануне перестройки. Скорее именно для пробуждения этой памяти, чем для воскрешения имперскости (чего так

испугался Запад и русская западническая интеллигенция), на протяжении нулевых годов происходила постепенная реабилитация советского прошлого.

Советская система к концу своего существования действительно содержала все основные признаки модерности: урбанизированное, вступающее в постиндустриальную эпоху, светское и толерантное, хорошо образованное общество (в котором главным лифтом социальной мобильности выступало именно образование), базовые основы частной собственности (в виде личной собственности советского человека на кооперативные квартиры, дачи, машины) и рыночных отношений (стихийно складывающегося теневого рынка, реального, но довольно мягкого имущественного неравенства, возможностей иметь «подсобное хозяйство» и «подрабатывать на себя», а также накапливать финансы и формировать, таким образом, первоначальный капитал). Успели сформироваться ростки буржуазной системы ценностей (в виде набирающего силу индивидуализма и желания «пожить для себя», о котором так сетовали советские агитаторы, начиная с 1960-х гг.).

Как историк, ближе стоящий к фактическому материалу и дальше находящийся от абстрактных схем, не могу согласиться с М.А. Шепелевым в его утверждении о неполноценности советского модернизационного проекта (Шепелев характеризует советский опыт как индигенизацию, т.е. привнесение в восточную по сути цивилизацию отдельных экономических и политических практик цивилизации западной [10, с. 124]). Безусловно, советская модерность к началу 1980-х гг. отличалась от западной, но как тут не вспомнить аргумент славянофила А.С. Хомякова, писавшего еще в середине XIX в. о том, что и единого «Запада», иначе как в виде абстракции, не существует, так что в каждой стране Европы мы видим несколько особенный «Запад», или, перефразируя, несколько особенную модерность.

В позднем СССР не хватало, на мой взгляд, всего двух безусловных качеств полноценной модерности: легализации многопартийности, вместе с идеологическим плюрализмом, и легализации частной собственности. Причем речь идет именно о правовой легализации того, что по факту уже присутствовало или дозревало в советском обществе. С легализацией многопартийности и частной собственности большую русскую социальную революцию можно было бы считать завершенной. Однако события 1991–1993 гг. привели к частичной контрреволюции, и, соответственно, могли в ответ спровоцировать новый революционный виток влево. Опасения новой «революции», новой «гражданской войны», были очень сильны, в т.ч. и в среде специалистов-политологов, однако общество удержалось. Корректировка контрреволюционных

разрушений началась и осуществляется мирным, эволюционным, путем. Это говорит о том, что основные перемены все-таки завершены, и маятник большой социальной революции остановлен.

Библиографический список

1. Голдстоун Дж.А. Революции. Очень краткое введение. М., 2017.
2. Дэвид-Фокс М. Жизненный цикл русской революции: опыт теоретического и сравнительного исследования. Ч. 2 // Неприкосновенный запас. 2018. № 3. С. 55–82.
3. Мазур Л.Н. От истории Октября к истории Русской революции: сравнительный анализ методологических подходов к оценке событий 1917 года // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2017. Т. 19. № 3 (166). С. 9–30.
4. Малия М. Локомотивы истории: Революции и становление современного мира. М., 2015.
5. Мироненко С.[В.] Россия на пути модернизации // Российская история. 2018. № 3. С. 3–18.
6. Миронов Б.Н. Модернизация имперская и советская // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 1. С. 54–82.
7. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004.
8. Сорокин П. Заметки социолога. Трагедия революции // Воля народа. 1917. 13 июля. № 64.
9. Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998.
10. Шепелев М.А. Великая русская цивилизационная революция как первый глобальный индигенизационный проект // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2018. № 4. С. 120–133.
11. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
12. Эткинд А. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 102–126.

Черепанова Розалия Семёновна – кандидат исторических наук; доцент кафедры отечественной и зарубежной истории, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

E-mail: rozache@mail.ru

R. Cherepanova

The Centenarian Russian Revolution?

To the issue of the Phenomenon of Long Revolutions

The basis of this article is the separation of the two concepts: social revolution (wide sense) and sectoral revolution – political, cultural, technological, etc. (narrow sense). The author sees social revolution as one of the ways of modernization, which is used when possibilities of other ways (evolutionary or reformist) are exhausted

or blocked. According to the author, social revolutions, in contrast to the sectoral ones, last for many decades, passing through several stages and are accompanied by changes of political vectors and modes. Building on the idea of P. Sorokin about the “revolution pendulum”, the article analyzes the stages of a long social revolution in Russia from 1905 to the beginning of the 2000s.

Key words: Social revolution, modernization, counter-revolution, intellectuals.

Cherepanova Rozaliya S. – PhD in History; associate professor at the Department of Russian and Foreign History, South-Ural State University, Chelyabinsk